



Ф. А. СТЕПУН

<«Как чужой, вероятно, даже враждебный армии демократ, Керенский не доверял корпусу господ офицеров»>

<...> В один из следующих дней мы уже с раннего утра приехали в Таврический. Предстояло разрешение самой трудной задачи: поминки вездесущего и всюду отсутствующего товарища Керенского. Половина нашей делегации дежурила на думской стороне дворца, другая — на советской. От нетерпения мы поочередно бегали в «советский» буфет, где было тесно, душно, накурено, но где всех, если не изменяет память, задаром кормили щами и огромными бутербродами. Еды было много, посуды мало, а услужения никакого.

После долгих часов взволнованного ожидания и непрерывного заглядывания во всевозможные фракционные и комиссионные заседания, нам удалось атаковать Керенского не то в коридоре, не то в какой-то проходной комнате, через которую он несся со своею свитою, явно боясь как бы его не остановили и не задержали.

Решительно подойдя к нему, я назвал себя, напомнил о нашей встрече у Я. Л. Сакера¹ и попросил назначить день и час для приема нашей делегации. Поручив кому-то сговориться со мною, Керенский, невольно оберегая висевшую на черной перевязи руку и всем телом подаваясь вперед, заспешил дальше. Ему, очевидно, было очень некогда.

В комнате, куда нас на следующий день ввели, было довольно много народу, все больше солдаты вперемежку с офицерами. Очевидно, к назначенному нам часу был приурочен прием и других делегаций. Так оно выходило экономнее в смысле времени и убедительнее в смысле впечатления.

Керенский с такою быстротой вошел в комнату, что показалось он вбежал в нее. Одет он был в темную тужурку, рука по-прежнему покоилась в широкой черной повязке. Так как русская революция еще не знала весьма удобного для приветствования масс поднятия руки,

то Керенскому пришлось обойти всех собравшихся и каждому пожать руку. Как некогда на рауте «Северных записок», он протягивал руку с близоруким прищуром и пожимал с приветливою улыбкой. Его похудевшее, пергаментное лицо было крайне оживлено, почти вдохновенно. Казалось, он вбежал к нам после ответственного выступления, волнение которого еще не отхлынуло от сердца. Новым в Керенском показалось мне некая военизация всего его образа, очевидно, дань революционной эпохе и его роли в ней.

По окончании речей председателей армейских делегаций заговорил сам Керенский, громко и твердо, характерно разрывая и скандируя слоги слов. В его речи были стремительность и подъем. Он говорил как власть имущий, патетически подчеркивая общенародный, миротворческий и демократический характер «великой русской революции». Было ясно, что Керенскому как единственному среди членов Временного правительства кровному сыну революции (на Гучкове, Львова и Милюкове явно лежала печать адаптации) придется рано или поздно встать во главе ее. В ее центре он уже стоял, соединяя в своем лице власть министра Временного правительства со званием товарища председателя Совета рабочих и солдатских депутатов. <...>

Успех Керенский имел на фронте потрясающий, причем не только на съезде делегатов, но и в отдельных частях, объезд которых он начал сейчас же по окончании съезда. К нему тянулись не только солдаты, но и многие офицеры.

Как сейчас вижу Керенского, стоящего спиной к шоферу в своем шестиместном автомобиле. Кругом плотно сгрудившаяся солдатская толпа. Среди нее офицерские фуражки и погоны. Неподалеку от меня, у заднего крыла автомобиля, стоит знакомая фигура дважды раненого пехотного поручика. На его груди георгиевский крест, в руке толстая палка. Приоткрыв рот, он огромными, печальными глазами, полными слез, в упор смотрит на Керенского и не только ждет, но как будто бы требует от него какого-то последнего, всеразрешающего слова.

Керенский, как и на съезде, в ударе: его широко разверстые руки то опускаются к толпе, как бы стремясь зачерпнуть живой воды волнующегося у его ног народного моря, то высоко поднимаются к небу. В раскатах его взволнованного голоса уже слышны столь характерные для него испущенные всплески. Заклиная армию отстоять Россию и революцию, землю и волю, Керенский требует, чтобы и ему дали винтовку, что он сам пойдет впереди, чтобы победить или умереть.

Я вижу, как одорукий поручик, нервно подергиваясь лицом и телом, прихрамывая стремительно подходит к Керенскому и, со-

рвав с себя георгиевский крест, нацепляет его на френч военного министра. Керенский жмет руку восторженному офицеру и передает крест своему адъютанту: в благотворительный военный фонд.

Приливная волна жертвенного настроения вздымается все выше: одна за другой тянутся к Керенскому руки, один за другим летят в автомобиль георгиевские кресты, солдатские, офицерские. Бушуют рукоплескания. Восторженно взвиваются ликующие возгласы «за землю и волю», «за Россию и революцию», «за мир всему миру». Где-то поднимаются и, ширясь, надвигаются на автомобиль торжественные звуки Марсельезы... <...>

Очень важным результатом июльских дней было то, что кадеты окончательно разошлись с Керенским и поддерживавшим его советским большинством. Если они, несмотря на это расхождение, все же вошли в новое, образованное 15-го июля и возглавляемое уже не князем Львовым, а Керенским коалиционное министерство, то, конечно, не затем, чтобы поддерживать окончательно скомпрометировавшую себя в их глазах коалицию, а лишь в расчете на новый кризис власти, в результате которого им, скорее всего, мечталась военно-буржуазная диктатура.

На старых позициях оставался в сущности один только Керенский. Чувствуя, что дорогая его сердцу единая, свободолюбивая, всенародная революция с каждым днем все безнадежнее распадается на две партийные, крайнефланговые контрреволюции, он продолжал настаивать на том, что единственным выходом из трагического положения все еще остается сплочение всех живых сил страны в сильном, коалиционно-надпартийном правительстве, поддерживаемом государственно-мыслящими элементами организованных во Всероссийском совете демократических масс. <...>

Не чувствуя нравственно-бытовой сущности армии, Керенский не чувствовал и ее эстетики: красоты подтянутого солдата, мерного, пружинного шага рот, проходящих под музыку перед начальством, зычного сигнала трубача, хоровой молитвы солдат на вечерней заре и ловкой, залихватской песни возвращающихся с занятий команд.

Будь этот мир внутренне дорог и близок Керенскому, он понял бы, как много теряло офицерство с разрушением быта и духа старой армии, понял бы, что, уступая часть своих прав и обязанностей комиссарам и комитетчикам, даже и искренне принявший революцию офицер должен был переживать ту же личную трагедию, что переживает каждый любящий свою жену муж, уступая часть своих прав любовнику жены ради сохранения внешнего мира в семье и воспитания детей.

Как чужой, вероятно, даже враждебный армии демократ, Керенский не доверял корпусу господ офицеров. Идя волей и сознанием навстречу Корнилову, он подсознательно, конечно, отталкивался от этого типичнейшего солдата.

Нечто подобное происходило и в Корнилове.

Корнилов понимал, что революция переменяла все силовые соотношения в стране, понимал, что Керенский — сила и что без Керенского ему, Корнилову, спасения России не осилить. Потому он и решил идти вместе с Керенским. Никакого заговора против Керенского он не замышлял; так называемый заговор Корнилова представляется мне и поныне лишь последней стадией трагического недоразумения между Корниловым и Керенским. В основу этого недоразумения легло не только их охарактеризованное мною взаимное отталкивание, но и нечто большее. Хотя Корнилов и строил свои планы в надежде на высвобождение Керенского из «советского плена», он подсознательно все же боялся, что в последнюю минуту Керенский «закинется» и, предав его, Корнилова, и свои собственные планы по восстановлению сильной власти, пойдет со своими демократами. <...>

Замысел Керенского созвать в Москве нечто вроде земского съезда² был с самого начала встречен в штыки. В левых кругах шутили, что Керенский едет в Москву, дабы испросить у буржуазии благословения на удушение революции; в правых — что он едет в Белокаменную на предмет социалистического коронования.

Как политическим врагам Керенского, так и его ненадежным попутчикам одинаково казалось, что Московское совещание понадобилось премьеру в качестве пьедестала для его власти и резонатора для его голоса. Пущенное Лениным презрительное словечко «бонапартишка» повторялось далеко не только в большевистских кругах.

Согласен, что в дни Московского совещания в Керенском чувствовалось желание убедить всех в том, что власть возглавляемого им правительства и есть та сильная, всенародная власть, которой жаждет страна. Некоторое уподобление себя «сильному человеку» в жестах, интонациях и терминологии Керенского безусловно чувствовалось. Но говорить о заученной позе актера, как то делает Милюков, и неверно, и несправедливо.

Признаюсь, что нападки правой оппозиции на главу Временного правительства не производили на меня убедительного впечатления; как нерешителен ни был Керенский, он был все же решительнее и сильнее своих оппонентов. Июльское восстание было без труда подавлено, если и не самим Керенским, бывшим в то время на фронте, то все же тою революционной демократией, которую он воз-

главлял: подоспевшим с фронта для защиты Петрограда отрядом командовал, как известно, меньшевик Мазуренко³. Что же касается мнения Милюкова, что генералы Корнилов, Каледин и Алексеев представляли собою в дни Московского совещания единственную реальную силу России, то вряд ли надо доказывать его ошибочность. За Корниловым не оказалось никакой силы, и восстание этого волевого человека и доблестного офицера было в три дня раздавлено «безвольным» Керенским.

Но если даже игнорируя факты и согласиться с тем, что Керенский был на редкость слабым и не устойчивым человеком, то все же остается открытым вопрос — в чем же проявили свою силу его строгие критики, те представители буржуазии во Временном правительстве, которым история поначалу вручила почти неограниченную власть? Разве только в том, что они последовательно сдавали одну позицию за другой. Разойдясь с демократией по вопросу о внешней политике, ушел в отставку Милюков, из-за разногласий по вопросу о преобразовании армии — Гучков. Неисполнимые требования рабочего класса заставили уйти в отставку Коновалова. Аграрные беспорядки принудили и Львова покинуть свое председательское кресло. Согласен, что всему этому поведению нельзя отказать в последовательности и упорстве, но упорство не сила: тактика постоянного требования сильной власти при постоянном отказе от нее ради чистоты программы никак не может быть признана за проявление силы. Сильную власть вообще не требуют, ее осуществляют. <...>

Ближе всех других к народной идее революции был, конечно, Керенский. Его ощущение революции как общенародного дела, его бесспорный нравственный пафос, его лишенный шовинистического острия живой патриотизм, его внутренняя свобода, если не от интернационалистических организаций, то все же от тезисов Интернационала, как будто бы предопределяли его к услышанию народных чаяний и исполнению народной воли. Если он этой воли — и прежде всего воли к миру — все же не исполнил, то объясняется это тем, что он был слишком убежденным либерал-демократом, в русском смысле этого термина, то есть общественным деятелем, до мозга костей проникнутым убеждением, что «общая воля народа» не может быть явлена иначе, как на путях свободного волеизъявления свободно выбранных представителей всех слоев и партий.

